

ЛЯМАН БАГИРОВА

Н О В Е Л Л Ы

Седьмой

Вот уже несколько дней подряд лил, не переставая, теплый сильный дождь. «Лил» – это мягко сказано. Он падал мягкой серой стеной, обволакивал туманом, шуршал, изредка всхрапывая. В переводе с дождиного его бесконечные «хурч», «бруч-ч-ч», «бгу-у-ульк» и «мряч-ч-ч» должны были, наверно, означать следующее:

– Так!

– Вот так! Еще сильнее!

– Поддай водички! Хор-рошо!

– За-амеч-ч-чательно! А ну, как повторим!

И на землю обрушивалась новая стена дождя, будто валились серые бархатные декорации. Земля эту театральную постановку принимала на ура! Ворчала от удовольствия, чавкала, урчала, пила живительную влагу. Аплодировала потом яркими цветами и душистыми плодами. Земля – самый благодарный и памятный зритель. Все помнит. И тот жаркий июльский день тоже...

...Авдан воткнул лопату рядом с яблоней и довольно хмыкнул. Почва была рыхлая, легкая, в меру влажная, для деревьев – как райское облако. Корни дышат вволю, и тепла, и света, и воды им достаточно. А все он – Авдан. С самого раннего утра землю мотыжит, разминает, удобряет, чтобы было яблоням как младенцу в колыбели – спокойно и счастливо.

Он еще раз окинул хозяйским взглядом сад. Все в порядке. Если не подведет погода, то лето будет радовать свежими помидорами-огурцами, стручковой фасолью и малиной. Авдан невольно улыбнулся, из малинника плыл крепкий сладкий аромат – нагретые солнцем ягоды теснились на ветках. А осень подарит сочные груши, айву и яблоки – предмет особой гордости и заботы. Плоды от яблонь-семилеток, они не испортятся зимой и дотянут до следующей весны. Оплот и защита дома его – яблони-семилетки.

Авдан огладил серую кору и стряхнул капли воды с листьев. Солнце уже стояло высоко – не обожгло бы. «Как за ребенком малым хожу», – усмехнулся он и зашагал к дому.

«Так они и есть мои дети, – продолжал размышлять он, умываясь под ручкой-рукомойником. – Посадил крохотными саженцами, от ветра, дождя накрывал, землю в руках разминал, поливал, удобрял, чтобы прижились поскорей, подрезал, от вредителей защищал, ни разу никому через плечо взглянуть не позволил, чтобы не сглазили ненароком, радовался, когда в рост двинулись – чем я им не отец?!»

Ручкой-рукомойником в унисон с его мыслями звенел на все голоса, выбрасывал радостные серебряные брызги.

– Чаю мне! – негромко крикнул Авдан в прохладную полутьму кухни и пошел к беседке. Жесткое махровое полотенце так и осталось на его плечах, вбирая капли воды и утреннее солнце. Наползал еще один жаркий августовский полдень.

Из кухни бесшумно вышла жена, поставила перед ним стакан чая и блюдечко с вареным сахаром. Ни конфет, ни иных кондитерских изысков Авдан не признавал. Только вареный сахар с пряностями и орехами. И чай был заварен так, как он любил

– терпкий, с чабрецом и гвоздикой. Мужчина потянул носом душистый пар, сделал большой глоток и улыбнулся. Хорошо! Вот он, хозяин, сидит в своем саду, в своей беседке, увитой жимолостью, и каждая травинка здесь знакома ему, каждый комок земли полит его потом. Он знает эту землю на цвет и запах, он родился и вырос на ней, растирал ее комья в заскорузлых руках, и она становилась мягкой и податливой, словно женщина после ночи любви. На этой земле он ребенком учился ходить, несмело ковылял и падал на нее, и добрая, она не царапала, а приминалась под ним, как мягкое одеяло. И она же в свой черед расступится, обнимет и примет его, как приняла когда-то отца и мать, и других родственников. Вон они лежат рядом на сельском погосте, и ему будет там место в свой срок, в свой час. А сейчас он пьет свежезаваренный чай с любимым вареным сахаром и вспоминает...

Работать на земле его научил отец. Молчаливый, седой и сгорбленный человек, он мог бы показаться угрюмым, если бы не улыбка. Отец улыбался редко, словно смущаясь, но улыбка мягким светом озаряла его иссиня-смуглое лицо.

– Запомни, сынок, ты – седьмой! – шептал отец в мальчишеское ухо. – Авдан – значит седьмой. Семь – принесло нам удачу, семь – число счастья. И яблони в нашем саду – все семилетки. Плодоносят только через семь лет. Но зато как! Даже в царском дворце не сыщешь таких яблок! И дом наш стоит на семи опорах. И после тебя три брата и три сестры. С тобой – семь! И тебе эта цифра принесет счастье.

– Почему все семилетки? – спрашивал мальчик. – Почему семь опор? Почему – Авдан?

Но отец только коротко смеялся, словно всхрапывал, и теребил сына по кудрявой голове.

– Когда-нибудь расскажу, – улыбался он, поблескивая крепкими белыми зубами. – А теперь идем работать! Земля труды любит, и деревья варом надо замазать.

Отец учил Авдана заготавливать садовый вар, смешивал в прокопченном ведре канифоль, скипидар, старый бараний жир и пчелиный воск и ставил эту смесь на огонь. По саду разносился едкий пахучий дым, отец помешивал обугленной деревяшкой варево, наклонялся над ведром, не боясь дыма, и напоминал Авдану волшебника из восточных сказок. Только вместо длинного халата и чалмы на отце были выцветшие рабочие штаны и рубашка.

– У каждого дерева свой норов, – негромко говорил он, нанося тонким слоем остывший вар на спилы веток. – Вроде все одинаковы, все семилетки, а глядишь – у одного плоды мельче, у другого кислее, а у третьего сладкие, но не такие сочные. Так и звери, и люди. У каждого особый характер, а ухаживать надо за всеми, не жалея сил. Упорством и любовью победишь все.

И правда! Отец возделывал сад с такой любовью, что Авдану казалось: он отблагодарит отца неслыханно.

Так и случилось. В начале сентября, в пору теплых сильных дождей, когда над землей еще царствовал южный, горячий ветер Нот, ветви деревьев как-то особенно поникли над землей. Отдали прощальный поклон своему работнику и хозяину. И покатались яблоки, как слезы. Весь сад был усыпан золотистыми плодами, и до самой зимы ветер разносил их грустный аромат....

– А почему я – Авдан? – тихо спросил 17-летний парень у матери. Он в одночасье стал главой большой семьи. – Отец так и не успел рассказать мне.

Мать – похудевшая, но прекрасная особой красотой печали, поправила темную косынку на волосах. Улыбнулась слабо.

– Это, сынок, еще задолго до твоего рождения было. Отец ведь на мне вдовцом женился. – Авдан удивленно поднял брови. – Да, времени много утекло, зачем прошлое ворошить. Мы не говорили вам.

Детей от первой жены у него не было. Хорошая была женщина, наша местная. Хозяйка замечательная. Все ее стряпню нахваливали. Но детей Бог ей не дал, и это ее мучило. Нашим ведь кумушкам пальца в рот не клади – во всех грехах женщина виновата: нет детей – порченная или больная, много детей – тоже плохо, мол, плодит, как крольчиха, а муж один кормилец, совсем его не жалеет.

Отец твой ее любил, защищал всегда, как мог. Но Бог решил по-своему. Отец горевал очень, но сразу после поминок сказал, что дом его без хозяйки пустовать не будет. И как минул положенный срок, заслал сватов ко мне. Я ведь уже перестарком была – мне 26 исполнилось. Мать моя плакала, говорила, что в таких годах только за вдовцов или, не дай Бог, разведенных идут. Саму-то ее в 18 просватали.

Вот поженились мы, пришла я в этот дом, снова затеплила очаг. И стали ждать Божьего благословения – детей. Но то ли первая жена так мечтала о детях, то ли не успела она жизнью насладиться, но только словно впечатала она свою невысказанную боль в стены дома и накрыла нас ею.

За шесть лет супружества я родила пятерых сыновей. Но что это были за годы!

Первенец наш умер, едва родившись. Второй и третий вообще родились мертвыми. Четвертый прожил только день. Мы и по врачам ходили, и к бабкам-ведуньям ходили – все только руками разводили. Говорили, что все в порядке, а отчего такая напасть – никто понять не может. Как заколдовали.

Мне бабки говорили, что девочку родить надо. Мол, девочки крепче, выживут. Но как назло, Бог посылал одних мальчиков.

Мать перевела дух, поправила выбившиеся из-под косынки седые прядки.

Когда умер пятый – он родился восьмимесячным, совсем слабым, отец совсем почернел лицом, осунулся, но меня подбадривал. Я по селу пройти боялась, пальцем вслед указывать бы стали, мол, неродящая, никудышная. Отец меня ни на шаг от себя не отпускал, не то, что слова вслед, косо посмотреть не позволял.

Но после пятой неудачи к нам мои братья заявили. И родные, и двоюродные. Одиннадцать человек. Вечером. И сразу к отцу твоему. Мол, прокляты и дом твой, и семья твое, а мы свою сестру забираем обратно. Негоже ей в проклятом доме жить. Не благословляет Бог ваш союз. А причина в тебе. И первая жена ушла обездоленной, и вторую ты несчастьем накрываешь. И мне говорят:

– Собирайся, сестра, ни минуты ты в этом холодном доме больше не останешься.

Отец твой промолчал. А потом снял со стены ружье и стал против них. Один против одиннадцати. И отец сказал:

– Я по закону Божьему ее брал в жены. Не таясь, не воровски. Перед Богом и людьми, она моя жена, а я ее муж. И разлучит нас только смерть. Никуда она не пойдет от своего мужа и дома.

Тихо так сказал и вскинул ружье. И тишина настала мертвая. Только слышно, как ветер листьями играет. Осенью это было. И листья звенели, как железные, страшно так.

Братья мои не робкого десятка были. И одиннадцать их против одного. Но они примолкли, смотрят то на отца, то на меня. И чувствую – в эту минуту зауважали они его. Кулаки сжимают, но близко не подходят.

А я ни жива, ни мертва в стену вжалась и стала такая же белая, как она. Наконец один из братьев говорит:

– Ты, сестра, что скажешь?

– Никуда не пойду! – отвечаю и сама пугаюсь своего голоса. Словно птица какая-то прокричала, а не человек сказал.

Они постояли еще немного, потом самый старший махнул рукой, и они ушли.

У нас под навесом тахта стояла деревянная, покрытая старым ковром. Летом отец любил иногда вздремнуть на ней.

Когда все братья скрылись за воротами, мы с отцом как подкошенные рухнули на нее и просидели так до утра, несмотря на позднюю осень. Отец лицо свое в мои ладони спрятал и сидел так долго. А потом поднял голову и сказал:

– Все теперь будет хорошо.

И такое светлое у него лицо было, что и я поверила в ту же секунду – достигли мы дна своего горя, выстояли и теперь будем подниматься вверх.

Так и случилось. Ровно через девять месяцев в последние дни августа родился ты. Все село на нас с опаской смотрело: кто с жалостью, кто со страхом, как на сумашедших. Только когда убедились, что младенец родился живым, здоровым и очень крикливым, пришли поздравлять. И братья мои пришли, прощения просили и кланялись отцу. А когда спросили его об имени для ребенка, он громко сказал:

– Авдан. Седьмой! Через семь лет он родился, и пусть это число принесет ему и дому этому счастье.

А пока я тебя ждала, отец ни минутки не сидел без дела. Все что-то мастерил, землю вскапывал, удобрял, поливал, разминал, чтобы была легкой, как пух. И посадил саженцы яблонь-семилеток. Знал, что удачу они в дом принесут! Дом укрепил: к пяти опорам прибавил еще две. И все делал с улыбкой – сам мокрый от пота, черный от солнца, одни зубы белеют, а веселый. И зазеленел сад, и в доме один за другим появились дети.

«Упорством и любовью победишь все», – вспомнил Авдан отцовские слова, и у него жалось горло. Мать – прекрасная, мудрая – опередила его всхлип:

– Теперь, сынок, ты – хозяин, – сказала она те единственно верные слова, которые спасают от безысходных мук и слез. И простые слова эти помогли справиться с утратой так, как не помогли бы сотни добрых утешений. «Земля труды любит», – говорил Авдану отец. «И ими лечит», – прибавил бы сейчас постаревший Авдан...

... Он допил чай и зашагал к дому. Сад благодарно шелестел ему вслед. Все выросли: и деревья, и братья, и сестры. У всех свои семьи и дети. И скоро они снова соберутся в доме старшего брата, за большим отцовским столом.

Первый раз в конце августа, в его, Авдана, день. И все еще жаркий воздух будет пахнуть спелой малиной, именинными пирогами и звенеть от детского смеха.

А потом второй раз в пору теплых сильных дождей, когда над землей еще царствует южный, горячий ветер Нот. И ветер будет разносить аромат золотистых яблочек. Это будет непременно. Пока стоит дом о семи опорах, плодоносят яблони-семилетки, и жив он – Авдан, нареченный отцом Седьмым.

Монолог

*Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет...
Живя, умеи все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?
День пережит – и слава Богу!*

Ф.Тютчев.

– Эй, погодите! Да, вы! Прохожий, в длинном черном плаще с капюшоном, я к вам обращаюсь! Не вертите головой по сторонам. Это я, старый уличный фонарь. Нет, не андерсеновский. Тот был моим прапрадедом. В нем горела сальная свеча, а в моем – электричество. Вот и вся разница. В остальном мы похожи. Оба – старики.

Только историю моего прадеда поведал Андерсен, а я сам расскажу о себе. Подойдите ближе, не бойтесь. Мой свет мягкий, он не причинит вам боли. Выслушайте меня: ведь, ей-богу, грустно стоять всю жизнь на одном и том же месте и видеть один и тот же дом, краешек озера, два тополя и уголок неба. И все время думать и молчать. Молчать и думать.

Не усмехайтесь, я знаю, о чем вы подумали: выживший из ума старик. Но это не так, уверяю вас.

Вот, например, окна дома напротив. В каждом жизнь и в каждом свой свет: теплый, холодный, яркий, мерцающий. Я люблю окна с теплым светом. Поднимите голову, отчего вы все смотрите в землю, взгляните хоть иногда ввысь.

Видите, из окна на четвертом этаже льется теплый оранжевый свет? Там живет молодая семья. Недавно родился ребенок. Женщина укачивает его и включает торшер с оранжевым абажуром. Младенец кричит, теребит мать за волосы, а она смеется и целует его, а потом поет колыбельную. Я знаю ее наизусть и напел бы ее вам, но мой голос проржавел за все эти годы, так же как тело. Даже слезы у меня ржавые и такие жгучие – они разъедают мне сердце.

Не уходите! Прошу! Станьте в мой свет, он уже не такой яркий, как прежде, но я разгляжу вас. Не отказывайте мне в просьбе, выслушайте меня, может, это моя первая и последняя исповедь. Кто знает, увидимся ли мы еще?.. Со старыми ржавыми фонарями не церемонятся. Что во времена Андерсена, что сейчас – отправляют на переплавку.

А на пятом этаже в комнате за бирюзовыми занавесками живет писатель. Правда, он себя так не называет: стесняется громких слов. Но я-то знаю, что он настоящий писатель, потому что не только пишет для людей, но и болеет за них душой. А такое, поверьте мне, встречается нечасто.

Могу ручаться, что вам неизвестно его имя. Ничего удивительного: все подлинное деликатно и робко, и не может оказаться в нужный час в нужном месте.

Однажды я увидел, как он что-то быстро писал на небольших листах бумаги и складывал их потом под бронзовую статуэтку балерины, чтобы не разлетелись.

Напишет несколько листов, сложит под статуэтку, подумает немного, вытащит, перечитает и порвет. И так продолжалось долго. Я забеспокоился. Такого никогда не было. Мне нравилось подглядывать за его работой: он начинал писать всегда с хмурым лицом, но, когда оканчивал, лицо его было светлым и умиротворенным. И я знал, что работа его удалась: после нее он всегда ужинал с большим аппетитом и весело играл с котом. А тут с ним случилось что-то странное. На столе горы исписанных клочков бумаги. И лицо его становилось все мрачнее. А потом он вышел на улицу, прислонился ко мне и заплакал. И я услышал голос его сердца. Он плакал о том, что не может написать рассказ, что он рассыпается у него на бумаге, как сухая луковая шелуха. И я знал, что он говорит правду.

Можно творить в мире, даже если в нем грохочут пушки и льется кровь. Это будут тяжелые книги и тяжелая музыка, но все же они могут быть. Но нельзя творить в мире, из которого по капле уходит любовь. Вот скажите мне, кто выдумал чудовищные слова «окружающая среда» и «человеческий фактор»? В них есть что-то безликое. Это не окружающая среда, а земля, которая нас вскормила и вода, которая нас вспоила. И не человеческий фактор, а люди, которые нас любили. А наш мир становится безликим, безобразным. Разве можно любить безликое? А то, что невозможно любить, легко отнять. Нельзя отнять маму и папу, потому что их любят, но можно отнять родителя № 1,2,3,4, потому что они безлики. Все, что делается сейчас – это, по большому счету, убийство любви, убийство привязанностей. Если нет любви, есть равнодушие. Есть равнодушие – есть безликость, есть безликость – нет ничего. Это как никакой свет. Вы видели когда-нибудь никакой свет? У него нет цвета, оттенка, мерцания. Он – просто свет, от которого страшно.

Я знал, что писатель думает об этом, и что только в сердце своем и памяти он еще находит силы. Но и они когда-нибудь иссякнут. А нынешняя жизнь ехидно скалится, не оставляя даже надежды на вдохновение.

Он плакал, старый писатель, любивший людей и понимавший, что ему нечего уже сказать им в этом безумном и злобном мире. И мне нечем было утешить его. Только плакать ржавыми слезами и сделать так, чтобы свет мой был еще мягче, а железное тело чуть теплее.

Вы улыбаетесь, вам не терпится уйти? Умоляю, подождите еще минутку. Я не задержу вас надолго. Куда вы все бежите, люди? Кто гонит вас? Посмотрите, какой свет струится из окон ваших домов.

Видите, третье окно на втором этаже? Из его штор вырывается разноцветный свет. В этой квартире живет молодая женщина. Она любит яркие цвета и веселую музыку, у нее в доме всегда много цветов и две певчие птицы в клетке. По утрам, когда электричество во мне отключают, и я засыпаю до вечера, то слышу, как они поют. Наверно так вы, люди, представляете себе рай. Только без клеток.

А вот еще...

Вы уходите? Почему вам так не терпится уйти в тьму? Даже мой неяркий свет вам тягостен. Но почему? Кто вы?..

КТО ВЫ?..

Зима. Душа.

Посвящается дорогой моей подруге Магдалине Гросс,

подарившей мне зиму в своем городе.

– Нет, нет, и еще раз нет! Это никуда не годится! Черт знает что! Черт!!!

Троекратное «ч», произнесенное с оттяжкой, словно пытались смачно сплунуть прилипший к губе листок бумаги, плевком осело в душе репортера Бесчастного. Он соответствовал своей фамилии с точностью до 99 процентов. Худой, в потертых джинсах, неопределенного цвета рубашке. Когда-то она была клетчатой, а теперь напоминала картину с абстрактными разводами. Бесчастный представлял собой крепкую, уверенную и надежную...безнадежность!

Главный редактор литературного журнала «Отечество мое» медленно багровел. На толстой шее его проступили синие жилы и белесые капельки пота. Но даже симпатичное сочетание цветов не вдохновило Бесчастного. Он уныло глядел в пол. Редактор еще раз взглянул на него, как бы решая для себя: обрушить ли гнев, или проявить милосердие? Потом вспомнил, что великодушие – удел сильных, и остановился на милосердии. Да и лень было вступать в распри с этим, по всей видимости, ослом!

– Пойми, Марик (настоящее имя Бесчастного было Марк, но все его называли Марик), ты ведь неплохой репортер! Какие статьи писал! Что с тобой? Я все понимаю, мамы не стало, светлая ей память, но у кого мамы вечные? Я сам полгода никакой был после родителей, но однако же взял себя в руки. А ты как сдулся! Марик, я же душой за тебя болею, пойми ты это, дурья твоя башка! Стал бы я возиться, если бы не было в тебе таланта. Что молчишь?!

Марик продолжал сверлить взглядом пол. В голове его грустно качнулась мысль: «Имя Марк означает «увядающий». То, что имя имело еще несколько значений, более оптимистичных, Бесчастный не вспомнил. Душа его стремилась к унынию, и в уме звучали только заунывные ноты.

Редактор что-то говорил, периодически багровея. Человеку, обладающему более пылким воображением, чем поникший Бесчастный, могло прийти на ум, что редактор переживает приливы и отливы неведомого алого океана. Человек с пылким воображением мог даже развить эту мысль до багровых закатов над этим океаном и о бледных звездах, приходящих им на смену. Но воображение Бесчастного было сейчас вовсе не пылким, да к тому же под воркование редактора оно блуждало неизвестно где.

– Ты меня слышишь?! – голос редактора из мягко-высокого стал взвизгивающим.

Бесчастный с трудом оторвал взгляд от пола и вдруг неожиданно для себя произнес:

– Снег бы увидеть.

Голос его прозвучал сдавленно и сипло, словно каркнул вороненок.

– Марик, ты о чем? Ты здоров? Да что с тобой? – редактор залопотал так быстро и участливо, словно боялся, что его прервут. Голова его напоминала ало пылающий шар с редкими кустиками волос.

– Снег, – шепнул Марик, и в глазах его была такая тоска, что редактор встревожился не на шутку.

– Ты мне не нравишься. Плохо выглядишь, бледный, взгляд блуждающий. Иди-ка домой, репортаж подождет. Да, подожди, дурья твоя башка, такси надо вызвать, еще свалишься по дороге. Ой, горе мне с вами, работнички!

Последние слова были сказаны в никуда и относились, скорее всего, к старому лысому тополю за окном. Тополь грустно скрипел и был очень похож на Бесчастного.

– Не надо такси, – разлепил губы Марк, – хочу пройтись.

– Точно сам дойдешь?

Редактор, которого все за глаза называли почему-то Ведьмаком Горынычем вместо Вадима Игоревича, был вообще-то отцом-благодетелем для своих подчиненных. Несмотря на грозно-багровый вид и синие жилы на шее, сердце у него было мягкое, как воск, из которого, по его собственным словам, «всякая шушера-мушера могла лепить черт знает что!»

– Да. – Бесчастный испытывал только одно желание – вырваться из светлого кабинета редактора.

Весенний день был прелестен. Иное определение не подходило к этому хрупкому, словно таящая льдинка, голубому воздуху, черным влажным деревьям и жирным котам, деловито спешащим по своим весенним делам. Даже звезды, едва заметные в синеем небе, были полны юного очарования. Жизнь скрыто бурлила во всем – в пряной податливой земле угадывались новые всходы, и на все голоса заливались птицы! Скоро, скоро расцветет палитра весны, брызнет всеми красками – алой, синей, желтой, сиреневой, золотой и всепобеждающей зеленой. Полетит земля сквозь голубой и прохладный звездный простор, восславит весну ликующей песней обновления. Все, все будет!

Но именно в эти волшебные дни Бесчастному было тревожно. Будто какая-то тоска сжимала сердце и не отпускала до самого мая. Лишь когда погода устанавливалась и весна с полным правом, степенно и достойно готовилась уступить дорогу лету, ему становило спокойно, словно открывалось второе дыхание.

– Академик Павлов говорил, что натуры впечатлительные хуже всего переносят переходные времена года, – зазвучал со дна души родной скрипучий голос отца. Тот был биологом, труды физиолога Павлова были для него чуть ли не Священным Писанием. Душевная ранимость отпрыска немного волновала его, он пытался найти ей объяснение в статьях своего кумира и постоянно цитировал Павлова сыну. Легче от этого тому не становилось, но отец удовлетворенно отчеркивал ногтем понравив-

шуюся цитату и успокаивался. Раз уж Павлов что-то говорит по этому поводу, значит, так оно и есть, и беспокоиться не о чем. Пусть уж лучше будет ранимым, да отзывчивым, чем бесчувственным чурбаном.

А Марик больше всего любил зиму, любил за чистоту и скромность, за молчаливую приветливость, растворенную в пышных облаках, перламутровом тумане, плывущем над деревьями. В зиме было все надежно, понятно и светло, она наполняла душу уверенностью: все будет идти своим чередом, в свой срок, в свой час проснется от сна земля, сменит белые одежды на зеленые и пестрые, а потом уже медные и золотые. Но в суматошной, прыгучей, пахучей и разноголосой весне эта уверенность отчего-то исчезала, таяла, оставляя тревогу.

Дорога домой пролегла мимо старой котельной. Бедная, какой она стала ветхой! А они с отцом так любили глядеть на нее во время зимних прогулок! Господи, как давно это было...

Мать закутывала Марика, как капусту, оставляя только между шарфом и шапкой с капюшоном узенькую щелочку для глаз. Но даже в эту щелочку он видел звезды, висящие совсем низко, над крышей котельной и верхушками старых сосен, отчего казалось – и сосны, и котельная украшены новогодними игрушками.

– Смотри, сынок, запоминай, набирайся впечатлений, может, и пригодится тебе.

Отец вздыхал, сбивал носком ботинка снег с кустов, тот разлетался белым веером, и на душе у обоих становилось радостно.

– Берендеево царство, зима-красавица, – выдыхал отец, восхищенно оглядываясь. – Нигде такого нет! – и сжимал руку сына в варежке. Марик молчал, вбирал в себя зиму как счастье, и серо-зеленые глаза его жмурились от удовольствия.

А придя домой, отец довольно отфыркивался, наливал себе большую (как говорила мать – полоскательную) чашку чая, откусывал от горячей булки с маслом порядочный кусок и заботливо сооружал для сына такие же яства. А потом клал перед ним толстую ученическую тетрадь.

– Вот смотри, здесь будешь записывать свои впечатления. Пиши, как на душу ляжет, искреннее слово дороже всего стоит.

И Марик писал. Вначале каракулями, потом детским старательным почерком. Потом... уже не писал, подростку не до описаний зимних красот, есть дела поважнее. Много изменилось, многое, – только любовь к зиме так и жила, грела сердце ожиданием чуда.

В день, когда Марк окончил журналистский факультет, отец церемонно пожал ему руку, расцеловал в обе щеки и вручил потрепанную ученическую тетрадку.

– Возьми, пригодится, – ответил он на безмолвный вопрос сына.

Вот она лежит сейчас перед Марком, благоуханное дуновение прошлого, бережной родительской любви, маленький островок надежности в его путаной жизни, крошечная верная зима среди бурлящей тревожной весны. Уже не вернуться, но вспомнить, прикоснуться на мгновение:

«Воскресенье, 14 декабря. Мы гуляли с папой в 40 километрах от дома. Места лесные, все тропы нехоженые. Деревья стоят, словно окутанные кружевным пуховым платком. Их еще не схватил мороз, они не серебрятся инеем, но в таком жемчужном белом убранстве, словно задумались о чем-то торжественном. Тропинки совсем безлюдные, много бурелома, и часто на дороги выбегают рыжие веселые лисы. Они ничего не боятся, смотрят черными глазами и машут большими пушистыми хвостами с белым шариком на конце. Мы хотели сфотографировать одну рыжую плутовку, но она сразу убежала в лес. Как прекрасен мир зимой! Снег продолжает падать, а в небе горят звезды, и кажется, что белая земля летит сквозь них в сказку».

Марк читал эти строки, улыбаясь. Весна с ее тревогой стала отпускать. Он задернул белые занавески с узором из снежинок. Так было спокойнее. Он даже вспомнил, что отец сказал, прочтя эти строки из тетради:

– Могу поспорить, что сейчас вы проходите в школе Тургенева. Я прав?

Конечно, он был прав! Марк писал про кружевной снег и веселых лисиц под впечатлением «Записок охотника». Но под насмешливым взглядом отца десятилетний мальчик краснел и мямлил, что это он сам так написал, просто «он не виноват, что Тургенев тоже похоже пишет». Отец трепал его по голове и прятал улыбку в уголках губ.

Господи, как давно это было, как неизбыточно-сладко и печально становилось сейчас на сердце. Белая красавица, зимушка, Берендеево царство, мир алмазный, волшебный, надежный – ты как укрытие, защита и опора. Прав Горыныч: плохо ему, Марку, которого все в редакции называли Мариком и это в 44 года! Так он сам давно потерял счет своим годам. О таких говорят: без определенного возраста. Бесприютный, беспристанный. Нет такого слова, знает это он, не гневайтесь понапрасну, филологи всех мастей! Только не всё, что правильно – верно. Не беспрестанный он, а именно беспристанный. Без пристани, без опоры, без надежного укрытия. Без зимы.

Сирий. Уехать бы в вечную зиму, слушать безмолвие, подставлять ладони под летящий снег, а потом, озябнув, вернуться в теплый дом, пить чай и смотреть, смотреть, пока хватит сил, как танцуют снежинки в свете фонарей. Романтик до седых висков. Вот, оказывается, твой дом – ты сам, твоя душа в снежном сиянии и чистоте. С ними надежно, они не предадут, не обидят. Зима обнимет белоснежными маминными руками, усмехнется россыпью отцовских улыбок, и отступит весенняя тревога, растворится сердце в радостном покое. И будет, все будет! Отступят горести и тревоги, рассыплется болезнь, мир опомнится, и все пойдет своим чередом: зиму сметит весна, потом лето, осень, и снова зима-чаровница, праздник души! Все будет, как должно, в свой срок, в свой час.

– Ну?! Выспался?! Отдохнул? – Горыныч был участлив, и алый шар его головы светился как-то особенно заботливо. – По глазам вижу, что отдохнул. Выглядишь гораздо лучше. Вот что, Марик, – сразу посуровел тоном редактор, – ты бы приоделся как-нибудь. В конце месяца премию тебе выпишу, купи что-нибудь. Да и вообще, ты о жизни своей думать собираешься? Ладно, не мое это дело, хотя я вам всем как отец родной, и вы из меня веревки вьете! Но одеться надо. Да, и напиши в номер что-нибудь новое, бодрое, весеннее. Давай-давай, давай! Рубрика «О природе» пустая. Ну, сам знаешь, не мне тебя учить.

– Ведь, Вадим Игоревич, я о зиме напишу, – единым духом выпалил Марк. И, подумав, прибавил: – Пожалуйста.

Горыныч стал медленно багроветь, набухать жилами и каплями пота. На языке его уже висело гневное: «Издеваешься?! Сколько можно на мне ездить?!» Но, взглянув в ясные, словно промытые снеговой водой, глаза Бесчастного, осекся и прохрипел:

– Вот гад! Черт с тобой! Валяй о зиме! Знаю: не статья будет – песня!

И улыбнулся широкой щербатой улыбкой.

*Что ж, зима. Белый улей распахнут.
Тихим светом насыщена тьма.
Спозаранок проснутся и ахнут,
И помедлят и молвят: «Зима».
Выпьем чаю за наши писанья,
За призвание весельчака.
Рафинада всплывут очертанья.
Так и тянет шепнуть: «До свиданья».
Вечер долог, да жизнь коротка.¹*

¹ С.М.Гандлевский – российский общественный деятель и правозащитник; поэт и прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат премий «Антибукер», Малая Букеровская, «Северная Пальмира», Аполлона Григорьева, «Поэт». Член жюри ряда литературных премий.

На побегушках

*Ангел бледный, легкокрылый,
К нам опущенный на землю!
Грез твоих я шепот милый
Чутким слухом чутко внемлю.*

В. Брюсов

Ангел сидел, свесив грязные ноги и опустив плечи. Это был обычный рождественский ангел – мелкий клерк в небесной канцелярии, привыкший исполнять обязанности еще и курьера. Чудеса доставлял! Так сказать, ангел на побегушках. В праздничные дни работы у него было особенно много, и он уставал безмерно.

Но сегодня, кажется, он перевыполнил свою норму. Шутка ли сказать – с самого утра мотался по серому зимнему небу. Холод собачий, а тут еще везде поспеть надо: этой в тяжелых родах помощи, этого ребенка от удушья спаси, родителям третьего жизнь продли и от паралича убереги, этих помири, тех, наоборот, от неверного шага останови, чье-то начальническое сердце умилостивь, чтобы работники его премию к празднику получили и своих домочадцев обрадовали, бездомным и кошкам теплые подворотни укажи и сделай так, чтобы жильцы не только на них не ругались, но еще и подкормили бедолаг и теплые тряпки под них подстелили. И все это он – рождественский курьер, то есть ангел. К концу дня уже и крылья не держали, шагал босиком по грязным обледеневшим лужам.

Если бы можно было, чертыхнулся! Хорошенькое дело – вся остальная ангельская братия будет вечером горячий нектар попивать и игрой на арфе баловаться, а он должен еще хитон свой стирать и крахмалить, подол-то совсем заляпался. У ангелов слуг нет – все самому приходится делать, как в армии. Хорошо еще, что ангелы не болеют, а то бы наверняка простыл. Да и хитон-то громадный, не по размеру, издали на платье-кlesh похож. Стирки часа на два, не меньше. А потом еще сушить, утюжить... Полночи пройдет.

Пора домой, на 18-е облако. Там вроде как казарма для ангелов мелкого ранга. Тех, кто чином повыше, – тем, конечно, изолированное облако. Ну, это понятно.

А лететь не хочется. Кажется, так и просидел бы всю ночь на крыше пятиэтажки, смотрел, как тают в фиолетовых сумерках снежинки. Жаль, что пятиэтажек все меньше. Многоэтажки неуютные, веет с их крыш вселенским холодом, а пятиэтажки добрые – ни небо, ни землю не обидели, вроде как высоко, смотришь вниз – голова маленько плывет, а людей все же видно: ходят, разговаривают, суетятся, надеются на что-то. Не то, что с небоскребов, когда вообще ничего не углядишь.

Только холодновато. Ангел поежился, и крылья его покрылись гусиной кожей. Он хихикнул. Хорошо, что никто не видит гусиную кожу под перьями. А нос-то, нос! Повис унылой длинной сосулькой.

Господи, ну почему у всех его товарищей настоящая ангельская внешность – весь набор в комплекте: золотые кудри, голубые глаза, фарфоровая кожа, розовые губы, тонкие черты лица, а у него нос – Бог семерым нес, а ему одному достался! Глаза цвета жженой пробки, жидкие серые волосенки, запавший рот и бугристая кожа землистого цвета.

Господи, где же твоя справедливость?! Где моя ангельская внешность, позволь спросить?! Водопроводчик из ближайшего ЖЭУ и то краше, даром, что не просыхает уже неделю.

Кстати, о водопроводчике. Как пить дать, нажрался опять где-нибудь и дрыхнет дома. А какой дом – название одно! Один как перст живет, в доме захлавлено, напакостено, нечисто. На пол ступить невозможно – липкая грязь к подошвам при-

стает. И холодно – треснутое окно драным паласом заткнул. А толку с него – ветер гуляет, засохшие окурки по полу гоняет, словно кошка с мышкой играет. В кастрюлях вместо еды тоже окурки в какой-то мерзкой жиже плавают. Слава Богу, что хоть дом пока не спалил. Сколько раз ангел сигареты тлеющие гасил – одеяло почти все прожженное. А этому скотине хоть бы хны! А воздух – хоть святых выноси. Крепкий кислый запах сивухи и табака – в конюшне и то легче дышится. Но водопроводчик привык уже, из пушки не разбудишь.

А если в подсобке уснул? Ангел задумался. Дома хоть какая-никакая кровать. Или диван? Да Бог с ним, хоть что-то. Продавленное, колченогое, но ложе! И одеялом накрылся, наверно. А в подсобке цементный пол, и из текстиля – только промасленная тряпка и старый свитер, намотанный на швабру.

«Не полечу! Да ну его к лешему! Я тоже не железный. В конце концов должен человек хоть какие-то мозги иметь. Его Бог по образу и подобию сотворил, вот пусть хоть разок вспомнит о Нем. Мне домой надо, ноги помыть и еще хитон стирать. Завтра опять целый день по небу мотаться с поручениями. Не полечу!»

Ангел решительно расправил крылья. До 18-го облака было сорок минут лёту. Он взмыл в небо, которое из фиолетово-сумеречного стало свинцовым, покружился немного над пятиэтажкой, чтобы размяться, и... круто развернувшись, полетел к подсобке. Летел и ругал себя: «Тебе что, больше всех надо? Смотри, какой праведник выискался, в серафимы метишь! Ты хоть в архангелы сначала выбейся, а то так и будешь мотаться на побегушках. Ага, медалей тебе навешают за героизм. Лети домой!»

Крылья упорно несли его к подсобке. Он подлетел и всмотрелся в замызганное окошко. Так и есть: спит бедолага на цементном полу. Ангел, не взломав окно, опустился рядом с храпящим и что-то бормочущим во сне существом. Оно было облачено в джинсы неопределенного цвета и клетчатую байковую рубашку. От вещей несло запахом спирта и немытого тела, а от пола – могильным холодом. Ангел огляделся по сторонам. Нигде не было и намека на ткань. Не стелить же в самом деле на пол свитер со швабры и промасленную тряпку. Да и на кой они для водопроводчиковой туши? Он еще раз огляделся и...эх, была не была!

– Сволочь! Скотина неблагодарная! – чертыхался ангел, стаскивая с себя хитон. – Нет, только посмотрите, что он вынуждает меня делать! Вот как мне голым домой лететь?

Голый ангел являл собой зрелище еще более уставшее и унылое, чем одетый. Худой, с выпирающими костями, он ползал вокруг спящего и пытался перетащить его на расстеленный хитон. Наконец, это ему удалось. Водопроводчик только чмокнул губами, засопел и перевернулся на другой бок. Ангел укрыл его полами хитона и невольно залюбовался на свою работу. Спит пьяница как спелёнатый младенец в колыбельке и улыбается непонятно чему. Видно, видит во сне что-то хорошее. Тепло ему. Ангел это точно знал.

Он осторожно выбрался наружу и задрожал от холода. Валил снег, укутывал собою крыши домов, деревья, мосты, памятники, человеческое горе, страдание, тревоги. Накрывал покоем и безмолвием. Белый – цвет тишины.

«Хорошо, хоть ночь сейчас, – подумал ангел. – Никто не увидит».

Он парил над тихой землей, в холодном свинцовом небе. Где-то высоко горели голубые звезды, и свет их был ласковым, но таким слабым, что ангел летел почти во тьме. И только догадывался, что до 18-го облака осталось не так много. Мимо с нежным свистом проносились минуты, часы, столетия – ангел давно привык, что у Вечности только одна мера – мгновение.

На 18-м облаке все уже спали. Ангел ощупью нашел свою кровать и с наслаждением растянулся под одеялом.

«А ноги-то я так и не помыл», – промелькнуло в засыпающем мозгу. И сразу эта мысль сменилась утешительной: «А, ладно, завтра».

Назавтра проспавшийся водопроводчик с пеной у рта доказывал своим друзьям, что не иначе как Провидение Божье вмешалось, потому как он проспал с девяти вечера до самого утра на цементном полу подсобки ничем не укрытый, а у него не то, что почки, печень, суставы и всякая дребедень не болит, а даже задрипанного насморка нет.

– Хотя, – глубокомысленно заявлял он, подняв кривой указательный палец, – это все хенетика. Папаша мой тоже не дурак был заложить за воротник, а никакая хворь его не брала. До 87 лет прожил старик!

Друзья понимающе кивали головами. Против хенетики кто ж спорит?!

Ангел, как обычно, спешил по делам. Вместо хитона он завернулся в простыню – на первое время сойдет. Потом что-нибудь придумает! На складе вроде должны быть запасные на крайний случай.

Времени у него было в обрез. Поэтому он чуть-чуть покружился над тесным двором подсобки, послушал хвастливые излияния водопроводчика и улыбнулся: всегда приятно сделать что-нибудь хорошее.

Улыбка его растворилась в воздухе, и только маленькая птица с красным хохлом заметила ее. Она беспокойно завертелась на ветке и стряхнула с нее комок снега. Он мягко спланировал прямо на голову водопроводчику, но тот, увлеченный рассказом о вчерашнем сне, ничего не почувствовал.

Ангел полетел дальше. Дел у него было много.

Пристанище

Страх перед белым листом бумаги. Ужас неизведанного. Откуда? Почему? Ей ли, собаку съевшей в журнально-газетном деле, жаловаться? А нет, всякий раз, как на экзамене, замирает сердце, подкашиваются ноги. Хотя с чего бы им подкашиваться? Ведь удобно сидит за столом, пишет новый текст. В очередной газетный номер, как говаривали встарь.

Итак-с, посмотрим, полюбопытствуем! Все честь по чести: большой, еще прабабушкин стол, покрытый зеленым сукном. Старый и слегка облезлый, но удобный, родной и привычный. Каждая щербинка знакома. За ним прабабушка переводила французских поэтов, мечтательно теребя камеею на платье, потом бабушка писала окислительно-восстановительные реакции, отец грыз гранит науки, потом они с братом корпели над уроками. Верный деревянный друг под зеленым сукном. Действительно, лучше не скажешь:

Мой письменный верный стол!

Спасибо за то, что шел

Со мною по всем путям.

Меня охранял – как шрам.

Мой письменный выучный мул!

Спасибо, что ног не гнул

Под ношей, покляжу грез –

Спасибо – что нес и нес.

Она улыбнулась. А все-таки дивная вещь – ассоциации. Из безмолвия вдруг сплетается тоненькая нить мыслей, звуков, запахов. Еще минуту назад она сидела, тупо вперившись в белый лист бумаги. Так и не смогла приучить себя сразу работать на компе. Он сиротливо поблескивал закрытой крышкой в дальнем углу комнаты.

Нет! Вначале – бумага. Белая дверь в волшебный сезам слов. Откройся, сезам, придите слова! Легкие, единственно верные, мгновенно падающие в сердце.

Только их она потом перенесет на экран компьютера с густо исписанного листа. Но ведь минуту назад никаких слов не было, не было ни-че-го! А вот стоило взглянуть на стол, как в памяти всплыли не только поколения, сидевшие за ним, но и стихи, знакомые с детства. И голоса, лелеющие душу...

– *Сиди ровно, детка. Девочка должна быть стройной.*

Это – мама с ее ровным, мелодичным голосом и золотой косой, обернутой вокруг головы.

– Ну, ма-а-ам! – протяжное «а-а-а» выражает всю степень негодования. Слово «должна» и одиннадцать лет плохо сочетаются!

– *Держи спину,* – голос мамы ровный и осанка безупречна. – *Всегда держи спину.*

Мама скрывается в проеме двери. Из него бьет золотой закатный свет, и кажется, что мама растворилась в сиянии.

А спину и вправду держать научилась. Королевская осанка, золотое сияние – мама...

– *Учись хорошо. Работай над собой. Знания – единственное богатство, которое у тебя никто не отнимет.* – Голос бабушки непререкаем. Она едва поднимает голову от листка с окислительно-восстановительными реакциями. Взгляд ее суров, как хлорная кислота – самая сильная в природе! А руки – шершавые, попорченные реактивами, породистые руки с длинными пальцами – мягки, как цезий – самый мягкий металл на земле! Этими руками она невесомо дотрагивается до головы внучки, уравновешивая суровость взгляда и закрепляя его:

– *Учись хорошо! Всегда найдется то, чему можно поучиться!* – Через десятилетия будет доноситься бабушкин голос и зóлотом оплавляться на дне души. Единственная в мире окислительно-невосстановительная реакция – золото памяти окисляется сердечной болью.

«*La pensée doit être gracieuse*» – «*мысль должна быть изящной*» – выступает из тьмы облик прабабушки. Ее она не застала, лишь слышала о ней. Но материализовался закрепленный в семейных преданиях образ: «в кольцах узкая рука», шуршащее платье, брошка-каменя у горла, сосредоточенный и нежный профиль. И аромат духов – волшебный, летящий, растворенный в обивке стола. Прабабушка переводит Теофиля Готье, восторгаясь изяществом его стихов. Но! *La pensée doit être gracieuse* – мысль должна быть милостивой. У французского «*gracieuse*» есть еще и это значение. Возможно, оно более верное. Мысль и слово должны быть милостивыми.

– *Всегда выбирай оптимальный путь решения,* – голос отца-математика плотен, зрим и нависает, как гора. – *Не трать время на сложные пути, они малоэффективны. Даже в математике существуют задачи на упрощение примеров, а не на усложнение. Что уж говорить о жизни. Но знай: оптимальный путь – не всегда кратчайший, по прямой!*

Голос отца гложет в зеленом сукне стола. Да, папа, все верно. Прямая – обманет, упрет в стену. Кривая пропетляет, но вывезет, не предаст. И подведет к тому, что тебе действительно нужно, чего ты достоин. Взвесит на весах вечности и определит положенную меру.

А это что? Хулиганский и милый голос выводит под Вертинского:

– *Ах, мадам, вас соткали из пены
И тончайших лучей самых дальних светил.*

Дядя... Огнеглазый, веселый, всегда вышучивающий чьи-то патетические речи. «Снижаем градус пафоса», – говорил он.

– Настоящий авантюрист! – отзывался о нем отец, почему-то тоскливо вздыхая.

А тот хохотал, вился бесом и вносил в жизнь дурашливую милую сумасшедшинку...

«В жизни не должно быть скучно, племяшка, – смеется он, сидя на столе. – От скуки до жестокости всего один шаг. Жизнь – это вам не просто так!» – добавляет он важным менторским тоном. И вновь рассыпается хохотом: *«Жизнь надо любить!»*

И смех его звенит в стеклянных бирюльках настольной лампы – «люб», «люб», «люб». И отзывается эхом в ее сердце.

Но что это? Лист бумаги, который недавно внушал ужас, исписан тонкими строчками. Осталось только перенести их на компьютер, из безмолвия родился рассказ, из небытия соткались полные нежности и печали фразы. Хотя, отчего из небытия? Разве не любовь диктовала их? Та самая, что пребудет вовеки, когда «и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

А все он! Старый крепкий стол, обитый зеленым сукном. Ее опора и поддержка, защита и вдохновение. И пристанище.

*Так будь же благословен –
Лбом, локтем, узлом колен,
Испытанный, – как пила,
В грудь въевшийся – край стола!*

В рассказе использованы: строчка из 1-го Послания апостола Павла к Коринфянам; стихотворение М.Цветаевой «Мой письменный верный стол» и строчка из романа В.Степанцова.

Изумруд

На улице Зевина в Баку был когда-то ювелирный магазин. Я любила заходить в него, по дороге из института домой. Продавец, словоохотливый старичок с маленькими острыми глазами, любил рассказывать о свойствах камней. Причем от собственного рассказа получал, кажется, больше удовольствия, чем от продажи украшений.

– Вот это, – оглаживал он овальные матовые бусины, – настоящий опал. Не какая-то пластмасса. которую вам всучат в переходе метро, а настоящий, благородный камень. Возьмите бусы в руки! Чувствуете его тяжесть и прохладу? А прожилки? Посмотрите на свет, они словно выступают из молочного тумана. И заметьте, ни одной одинаковой бусины! Вот в этой – молочно-голубоватый туман, в той – розоватый, а эта с персиковым оттенком. И прожилки в каждой тоже определенного цвета. В голубом тумане, например, бронзовые, даже чуть ржавого оттенка, цвета грузинских фресок – бирюза и бронза. А в розовом – прожилки серые, почти черные. Ну, разве это не японская гравюра? А вы какого знака зодиака?

– Лев.

– Тогда положите на место. Немедленно! Опалы подходят только людям, рожденным под знаком Весов. Другим они не принесут счастья. Вам нужны хризолиты. Камень зелени и солнца. Только у меня их сейчас нет, заходите на следующей неделе, подберем серьги. Не спорьте! Только серьги с хризолитом, они оттенят ваши глаза и принесут удачу.

Я и не спорила, трудно было даже вставить слово в этот вдохновенный монолог. Старичок явно ждал от меня одобрения.

– Спасибо. Да, я очень люблю солнечно-зеленый цвет. Хризолиты и... изумруды тоже.

Зря я сказала про изумруды! На меня обрушилась новая вдохновенная лекция минут на пятнадцать! Из нее я узнала, что изумруд был любимым камнем царя Соломона, что о нем писал Куприн, что от изумрудов слепнут змеи, что он врачует сердце и мозг, что от одного созерцания его – душа наполняется радостью, чистотой и весельем, что больше всего подходит людям, рожденным в мае.

– Только работать с ним очень трудно, – добавил продавец. – Очень хрупкий. Одно неверное движение, и все – камень испорчен. Очень хрупкий. Оттого и украшения с ним самые дорогие. Не камень, а словно человек. Очень ранимый.

Он замолк и задумчиво поглядел в окно, в которое билась, неистовствовала весна. Изумрудно-зеленый май – последняя пристань свежести перед испепеляющим бакинским летом.

Этот давнишний разговор я вспомнила, когда собралась писать о другом самородке.

Изумруде русского романса – **Валерии Агафонове.**

Валерия Агафонова не зря называют рыцарем русского романса. Именно рыцарственность, предельно бережное, благоговейное отношение были присущи его исполнению. По сути он возродил искусство романса, вернув ему исконные задушевность, кротость и самое главное – исповедальность. Романс – искусство прежде всего исповедальное, от сердца к сердцу.

Он прожил всего 43 года. В доме на любимой Моховой улице в Ленинграде. Там он родился, там и умер. Сейчас на этом доме памятная доска. Даже когда ему предлагали сменить коммуналку на более комфортную квартиру в другом районе, он не соглашался. Не мог представить себе, как сможет обходиться без дома и двора, где ему были знакомы каждый уголок, каждая щербинка.

Он родился 10 марта 1941 года. Пережил блокаду. От недостатка питания был очень слаб, ходить начал только в 3 года. Тогда же появилась сердечная недостаточность. Отец его погиб на фронте. С мамой и сестрой Валерий остался в огромной коммунальной квартире.

Из-за болезни он много пропускал уроков и вынужден был бросить школу. Начал петь. Но без аттестата зрелости не мог поступить ни в какое учебное заведение. Зато мог сесть в сквере на скамейку и петь под гитару. Вокруг сразу же собиралась огромная толпа слушателей. А пел он чудесно, очень проникновенно:

*Капризная, упрямая, вы сотканы из роз.
Я старше вас, дитя мое, стыжусь своих я слез.
Капризная, упрямая, о, как я вас люблю!
Последняя весна моя, я об одном молю:
Уйдите, уйдите, уйдите!*

*Вы светлая, с лучистой улыбкой на устах.
И если правда чистая хранится в тех словах,
Отброшу все сомнения, прощу каприз я вам
И жизнь мою осеннюю, как ладанку, отдам, –
Возьмите, возьмите, возьмите!*

Валерий Агафонов окончил ремесленное училище, работал фрезеровщиком, но врачи запретили ему заниматься физическим трудом.

В поисках заработка он был подсобным рабочим в цирке, электромонтером в Академии художеств им. И.Е.Репина. И сам, кстати, тоже отлично рисовал. Постоянно посещал художественные выставки, концерты. Писал стихи, сочинял музыку, был прекрасным чтецом и рассказчиком. Именно тогда в годы своеобразного ученичества стала вырабатываться его неповторимая исповедальная манера исполнения.

Как заметил один из друзей Агафонова уже после его смерти: «Романс – пожалуй, единственный жанр музыкального искусства, где голос вторичен. Важны только предельная искренность, душевность. Только навстречу ей откроется сердце».

Валерий дружил с многими бардами, в том числе и Владимиром Высоцким. Пению и игре на гитаре его никто не учил. Он самостоятельно достиг профессионального мастерства. И не случайно фирма «Мелодия» выпустила целых шесть его пластинок.

Достаточно только послушать, как он исполняет знаменитый романс «Москва златоглавая», чтобы почувствовать невероятную интеллигентность и глубину исполнения, совершенно отличную от исполнения ансамбля «Русская песня».

Пластинки Агафонова выходили и в Швеции, и в Финляндии, но сам он не получал с этого ни копейки. У него не было никаких конфликтов с властью, но в их отношениях соблюдался некий нейтралитет, власть его будто не замечала. За всю жизнь он один раз выступил по телевидению, и один раз ему уделили 20 минут радиозэфира. В основном его выступления проходили в красных уголках ЖЭУ, на предприятиях. А он мечтал о большой сцене.

Мечта сбылась, но до того, как он стал вокалистом Ленконцерта, ему пришлось поработать в ночном баре гостиницы «Астория».

Известно, что он пел самому Шарлю де Голлю, президенту Франции. В гостинице ему запихивали в гитару валюту, а он потом ее всю отдавал сотрудникам соответствующих органов.

Потом он стал вокалистом концертной бригады «Интуриста», актером драмтеатра в Вильнюсе, солистом ленинградского цыганского ансамбля. Во время работы в этом ансамбле произошел забавный случай. Валерию сказали, что фамилия Агафонов не годится! «Будешь венгерским цыганом по фамилии Ковач», – решил руководитель ансамбля.

Валерию покрасили волосы в черный цвет, а когда он спал, ювелир Андрей Абрамичев впаял ему в ухо золотую серьгу.

Выступления молодого солиста проходили с большим успехом. Но вскоре ансамбль распался, и цыгане перешли работать в ресторан «Восток», а Валерий расстался с ними.

*Так хочется хоть раз, в последний раз поверить,
Не все ли мне равно, что случится потом;
Любви нельзя понять, любовь нельзя измерить,
Ведь там, на дне души, как в омуте речном.*

*Пусть эта глубь бездонная,
Пусть эта даль туманная
Сегодня нитью тонкою
Связала нас сама,
Твои глаза зеленые,
Твои слова обманные
И эта песня звонкая
Свели меня с ума.*

Вместе со своей первой женой Еленой Бахметьевой Агафонов уехал работать в Вильнюсский драматический театр. Играл в спектаклях, выступал с лекциями и концертами, рассказывал об истории создания романсов и об их авторах.

С бригадами Ленконцерта Валерий объездил всю страну – от Ленинграда до Камчатки. Если отбросить всю романтику путешествий, то гастрольно-колесная жизнь далеко не сахар. Это подчас тяжелейшие условия, ночёвки в неотапливаемых клубах, на стульях и скамейках, питание кое-как, необустроенные дороги, душные, пропахшие бензином автобусы, нищенские ставки (6.50 за концерт). А у Валерия был врожденный порок сердца, ему требовались особый щадящий режим и сбалансированное питание. Он мучился больше других, и спасала его только неистребимая жажда пения.

Его часто приглашали в любую компанию, он легко соглашался, мчался иногда на другой конец города и своим пением нередко вытаскивал людей из жесточайшей хандры, исцелял души.

Выглядел он... Ох, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... В стареньком, побелевшем по швам пальто, в ботинках, «требующим каши», в кургузом пиджачишке, в заляпанной рубашке. Только его гитара всегда была в идеальном состоянии.

Но на сцену он выходил благородным рыцарем – во фраке, в белоснежной рубашке, в зеркально начищенной обуви. Сцена была его жизнью, остальное было не то, что вторично, третично. И стоило ему только начать петь, как слушатели понимали: на их глазах рождается чудо. Певец ткал волшебство и накрывал им зал.

Певец Евгений Дятлов сказал как-то об Агафонове: «Я считал романс анахронизмом, не понимал, как на этом языке попросить хлеба. И вдруг услышал, как человек на этом языке и молится, и просит хлеба и вина. Рухнули стены какой-то плотины, и со мной происходило что-то странное, словно всю душу вынули, разобрали на молекулы и потом вновь собрали чистой, искренней, омытой любовью».

В репертуаре Валерия Агафонова насчитывалось около тысячи песен и романсов. В основном это старинный, бытовой, городской романс.

Этот жанр за два века своей истории знал и взлеты, и падения, им восхищались и его отвергали, презирали, иронизировали. Любовь к романсам считалась даже признаком невысокого вкуса. Но романсом заслушивались Пушкин и Фет, Толстой и Тургенев, Блок и Есенин. Его исполняли Шаляпин и Собинов, Иван Козловский и Сергей Лемешев.

Несмотря на кажущуюся простоту, романс – как шкатулка с секретом. Его не так легко исполнять, особенно в сопровождении оркестра, а в эстрадном исполнении он нередко звучит искаженно. Но в исполнении Валерия Агафонова романс – это всегда чудо, сотворенное Господом Богом и талантом человека. Это настоящий бриллиант, а вернее – изумруд. Ни один из певцов этого прекрасного романса не достиг в его исполнении такой глубины и искренности, как Валерий Агафонов.

*Нет, ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,
Ни наглой белизной сверкающий алмаз
Не подошли бы так к лучистости суровой
Холодных ваших глаз,
Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну черных руд,
Ничьим огнем не опаленный,
Ни в что на свете не влюбленный
Темно-зеленый изумруд.*

*Мне не под силу боль мучительных страданий;
Пусть разлукою ослабят их года, –
Чтоб в ярком золоте моих воспоминаний
Сверкали б вы всегда,
Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну черных руд,
Ничьим огнем не опаленный,
Ни в что на свете не влюбленный
Темно-зеленый изумруд.*

Валерий Агафонов – одна из ярчайших, но очень скромных звезд на небе русского романса. Он почти не был известен при жизни, ушел очень рано. Скончался от сердечного приступа 5 сентября 1984 года на улице около Московского вокзала в Ленинграде, по дороге на выступление. После него остались вдова Татьяна Винникова, две дочери – Владислава (Лада) и Дарья, любимый дом на Моховой улице, 32, роли в двух фильмах («Личной безопасности не гарантирую» и «Путина») и песни. Его романсы, его бессмертие. И, может быть, в мире чуть прибавится счастья от того, что жил в нем такой певец – Валерий Борисович Агафонов.

При написании статьи использовались материалы из Википедии, фильма Александра Таненкова «Валерий Агафонов. Автопортрет с комментариями» и фильма «Валерий Агафонов. Вильнюсский период».

